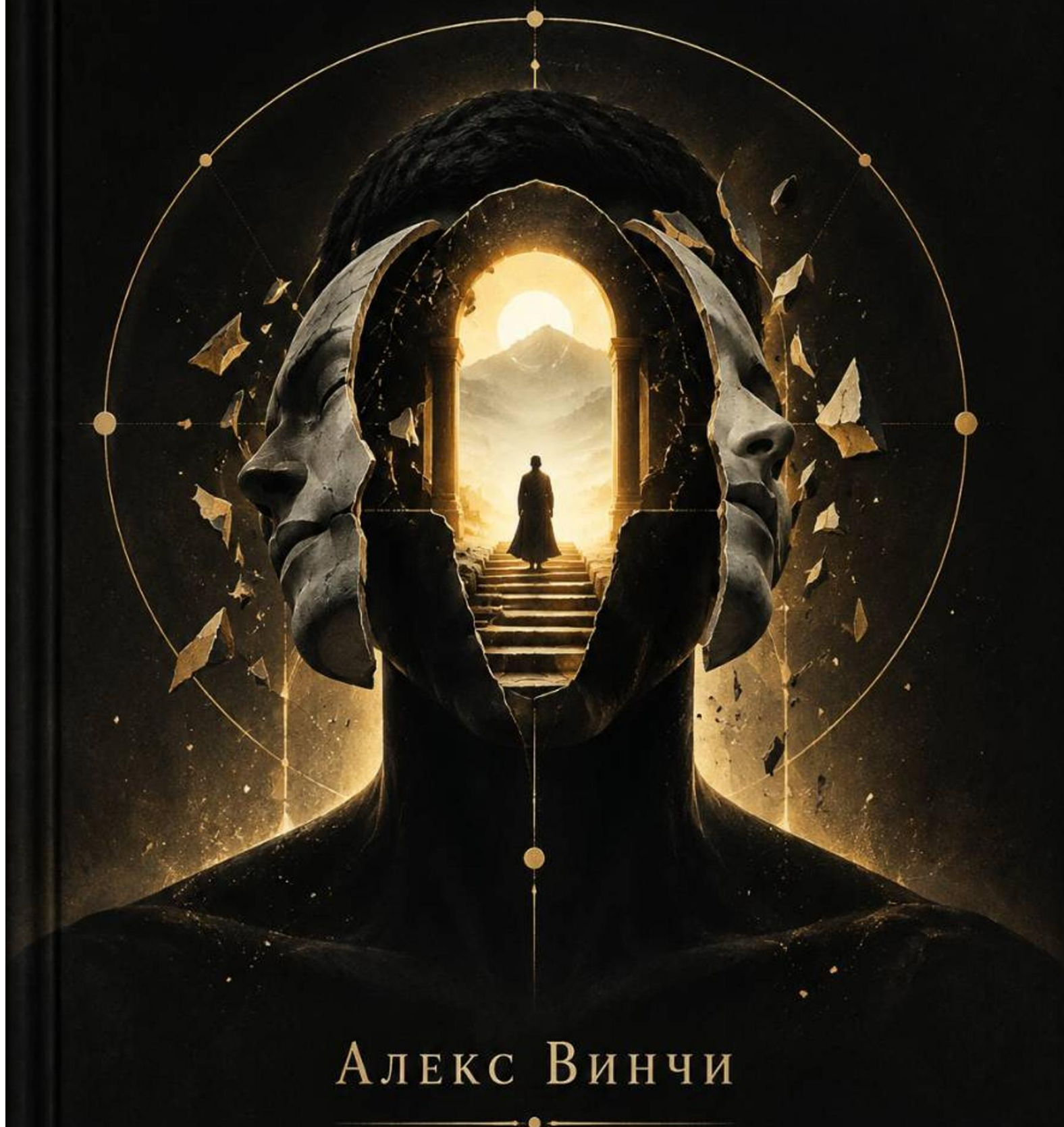


Ты не То, кем себя считаешь

Три тысячи лет вопроса «Кто Я?»



Алекс Винчи

Алекс Винчи

**Ты не То, кем СЕБЯ считаешь.
Три тысячи лет вопроса «Кто Я?»**

«Автор»

2026

Винчи А.

Ты не То, кем СЕБЯ считаешь. Три тысячи лет вопроса «Кто Я?» /
А. Винчи — «Автор», 2026

Ты носишь при себе список. Имя, возраст, обиды, планы — и проверяешь его каждое утро, как карманы перед выходом. Этот список ты называешь собой. Попробуй вычеркнуть из него строку. Потом ещё одну. Потом все. Кто-то всё ещё смотрит, как ты вычёркиваешь, — и он никуда не делся, хотя список кончился. Те, кто это заметил, не бросили работу и не перестали любить. Просто перестали путать себя со своим перечнем — и жизнь полегчала. Три тысячи лет люди задавали один вопрос: кто я без всего этого?

© Винчи А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Вступление	6
Разделение, которого нет	7
Что значит «не-два»	8
Откуда тогда ощущение отдельности?	9
Самое странное открытие	10
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Алекс Винчи

Ты не То, кем СЕБЯ считаешь.

Три тысячи лет вопроса «Кто Я?»»

ИСТОКА

Ты не тот, кем себя считаешь

История адвайты в лицах: три тысячи лет вопроса «кто я?», от Упанишад до наших дней

© ИСТОКА, 2026. Все права защищены.

Никакая часть этой книги не может быть скопирована, сохранена или передана в любой форме и любыми средствами без письменного разрешения автора. Рецензент может цитировать короткие отрывки.

Книга носит общий ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача, психолога или духовного наставника.

Первое издание, 2026.

Вступление

Единственное, что мешает найти себя: уверенность, что себя нужно искать.

Представь: всю жизнь ищешь очки, которые сидят у тебя на носу, не потерял, не забыл, носишь и ищешь. Смешно, пока не заметишь, что так устроена почти вся духовная работа.

Разделение, которого нет

Мы живём так, будто между нами и миром стоит стекло. Ты здесь, мир там, ты наблюдаешь, мир разворачивается перед тобой. Это стекло проверяют на прочность тысячелетиями и до сих пор спорят, из чего оно. Вопрос задавали жене у порога, мальчику у дверей смерти, торговцу за прилавком, и каждый платил за него домом, именем или телом. Но сам вопрос старше любого ответа: кто тогда за стеклом?

Традиция, которой три тысячи лет, называет это одним словом.

Что значит «не-два»

Адвайта по-санскритски означает «не-два»: не «одно», потому что «одно» подразумевает, что могло быть два. А тут нечему делиться, второго нет. Вода не становится мокрой, она и есть мокрость. Так и здесь: ты не соединяешься с реальностью, потому что никогда не был от неё отдельным. Это деление существует только в словах, как линия экватора существует только на карте. Но если никакой границы нет, откуда чувство, что она есть?

Откуда тогда ощущение отдельности?

Потому что ум делает то, для чего создан: режет мир на части, чтобы ты выжил. Строит стену между тобой и миром, и ты ей веришь. «Хищник не я, огонь не я, боль убрать, еду взять.» Полезный механизм, только он не знает, когда остановиться, и однажды начинает резать там, где резать нечего. Отделяет тебя от собственного присутствия, как нож, который пытается разрезать сам себя. Нож не замечает абсурда, а ты можешь.

Самое странное открытие

Те, кто увидел это, описывают не приобретение, а потерю. Ничего не добавилось, упало лишнее. Один учитель сравнил это с пробуждением от сна, в котором ты был нищим: открыл глаза и увидел, что спал в собственном дворце. Ничего не изменилось, кроме сна, дворец стоял всё это время. Для этого не нужно было ехать в Индию, читать тысячу книг или сидеть в пещере двадцать лет. А что нужно?

Единственное, чего ты ни разу не видел, это место, откуда смотришь. Поэтому его невозможно найти поиском: каждый шаг к цели уводит от неё, потому что шаг создаёт расстояние там, где расстояния нет. Очки на носу не находят, их замечают.

Однажды шестнадцатилетний мальчик, один в пустой комнате наверху, без всякой причины понимает, что сейчас умрёт. Он никого не зовёт, а ложится на прохладный пол, вытягивает руки вдоль тела и задерживает дыхание, чтобы увидеть, что именно умирает.

Приглашаю тебя отправиться в тот самый момент...

Глава 1

Мальчик, который разыграл свою смерть

Почему страх смерти приходит среди ночи и не слушает ни одного разумного довода?

В июле Мадурай живёт ожиданием дождя. Воздух стоит неподвижно, нагретый камень мостовой держит жар до глубокой ночи, а к полудню небо выбеливается так, что от него ломит глаза. Под вечер с юга иногда потянет запахом мокрой пыли, где-то уже пролилось, только не здесь, и запах уходит, и ночь опять приходит сухая и горячая.

Перед дождями город будто задерживает дыхание. Пыль стоит в воздухе и не садится, бельё на верёвках висит без движения, собаки уходят под телеги и лежат там до темноты, а люди говорят тише обычного и все разом смотрят на юг, где над крышами копится серое. Так тянется иногда целую неделю, и в подобную неделю любое событие приходит раньше своего срока.

Дом дяди стоял на узкой улице недалеко от большого храма и с утра был полон народу: внизу гремели вёдрами, во дворе торговались с разносчиком, из кухни тянуло горячим маслом и лопающимися горчичными зёрнами. Наверху была комната, куда днём никто не заходил: выбеленные стены, свёрнутая циновка в углу, прикрытая от солнца ставня и полоса света на полу, которая к вечеру доползала до порога. Хорошее место, чтобы не попадаться никому на глаза.

Мальчика звали Венкатараман, ему было шестнадцать лет, и до середины того июля ничто в нём не обещало необычной судьбы. Он родился в 1879 году в небогатой семье судебного служащего из маленького городка. Отец умер, когда сыну шёл тринадцатый год, дом разошёлся по родне, и мальчика отправили в Мадурай, жить у дяди и ходить в английскую школу. Учился он спустя рукава, зато на пустыре за школой был первым, потому что дрался охотно и умел терпеть. А спал он и вовсе замечательно: приятели вытаскивали его сонного во двор, поднимали, колотили, и утром он просыпался на своём месте, не помня ничего.

В тот день не случилось ровно ничего. Он пришёл из школы, поднялся наверх, сел на пол у стены, и вдруг, без причины и без всякого перехода, его накрыла уверенность, что он умрёт прямо сейчас. Никто в доме не болел, беды не ждали, у него самого ничего не болело. Ужас встал на пустом месте и не обсуждался, как не обсуждается известие, которое принесли в дом с улицы. **Страх говорил одно: тебя сейчас не станет.** Пот выступил на спине, и в жаркой комнате мальчику стало холодно.

Взрослый человек в такую минуту зовёт на помощь. Шестнадцатилетний мальчик, один в чужом доме, мог скатиться по лестнице и вцепиться в дядю, и любой на его месте так и сделал

бы, потому что страх для того и устроен, чтобы гнать человека к людям. Мальчик наверху не сдвинулся с места и никого не позвал. Он решил посмотреть, как это устроено.

Раз смерть пришла, рассудил он, мешать ей незачем. Надо пройти до конца и увидеть, что именно кончается. Пол был прохладнее воздуха, и прохладу сквозь тонкую рубашку он заметил раньше всего остального, пока укладывался. Венкатараман вытянул ноги, положил руки вдоль тела и держал их прямыми, как держат руки покойнику, пока не придут обмывать. Потом задержал дыхание и плотно сжал губы: умирающий издаёт звук, и мальчик хотел, чтобы не вырвалось ни одного. Он разыгрывал смерть добросовестно, как мальчишки делают всё, за что берутся всерьёз.

Тело послушалось сразу и охотно. Через полминуты в груди загло и в ушах поднялся ровный шум, руки отяжелели, стали будто не его.

Внизу, кстати, ничего не переменялось, и это он тоже слышал. Скрипнуло ведро, проехала телега, женский голос позвал дважды и замолчал, где-то далеко ударили в барабан у храма. Мир не заметил его смерти и не собирался замечать, и мысль об этом прозвучала в жаркой пустой комнате холодно и ясно: когда с человеком случается самое главное в его жизни, соседи торгуются из-за рыбы.

И страх никуда не делся. Представь, что ты в ту минуту приоткрыл дверь: на полу лежит мёртвый мальчик, ставня не двигается, полоса света лежит поперёк него, и в кухне внизу кто-то зовёт невестку.

Вот что оказалось неожиданным. Он проделал с собой всё, чего боялся, честно и до конца, а ужас стоял рядом и спокойно смотрел, как он это проделывает. Игра в смерть не отменила страха смерти ни на волос, и тут стало понятно, что страшно ему было вовсе не лежание на полу, не остановленное дыхание и не тяжесть в руках. Он боялся чего-то другого, и до этого другого игра пока не достала.

Тогда он заговорил с собой, не вслух, губы были сжаты, и разговор шёл примерно так. Хорошо, я умер. Сейчас поднимутся наверх, найдут и вынесут во двор, будет крик. Завтра тело отнесут к реке и сожгут, и останется от него горсть серого, которую ссыплют в воду, и через год никто не покажет пальцем, где именно. Тело сгорит. А я?

Вопрос был задан не из книги и не из любопытства, а из-под остановленного дыхания, и потому отвечать на него словами было бессмысленно: слова остались там же, наверху, вместе со школой. Ответ приходилось искать прямо здесь, на полу, глазами — вернее, самым вниманием, которое остаётся при закрытых глазах и никуда не девается.

Он попробовал найти себя на ощупь, как ищут в тёмной комнате оброненную вещь. Позвал себя по имени, беззвучно, одними мыслями: Венкатараман. Имя прозвучало внутри и растаяло, и тут обнаружилась неловкость: имя оказалось звуком, звук кто-то слышал, и слышащий никак не помещался в пять слогов, которыми его звали дома. Он попробовал найти себя в груди, в тяжёлых руках, и всюду находил только ощущение, а хозяина ему не находил.

И тогда мальчик увидел простую вещь. Тело лежало и молчало, оно и правда никуда больше не годилось: не шевелилось и не отвечало. А рядом с молчащим телом кто-то продолжал ровно смотреть — считал секунды и замечал, как тяжелеют руки на прохладном полу. Наблюдение не легло вместе с телом и не остановилось вместе с дыханием. Оно не боялось и не торопилось. И положить его на пол, вытянуть ему руки и сжать ему губы было нельзя, потому что оно само всё это и проделывало.

В разыгранной смерти умерло всё, кроме самого наблюдения.

Он отпустил губы, и воздух вошёл сам, грубо и жадно, как входит первый вдох у нырнувшего слишком глубоко. Комната была на месте, стена была на месте, полоса света успела переползти на ладонь ближе к порогу — значит, прошло не меньше получаса, хотя внутри всё уместилось в одну минуту. Мальчик сел, обхватив колени, и посидел так, слушая, как сердце возвращается к обычному шагу.

Страх ушёл в ту же минуту и, по его собственным словам, больше не появлялся никогда. Ушёл он не потому, что мальчика утешили и не потому, что он передумал умирать: утешение вообще не участвовало. Ужас держался, пока речь шла о полном исчезновении, и осел, как оседает пыль в комнате, куда внесли лампу, когда стало видно, что исчезает перечень, а смотрящий остаётся на месте и смотрит, как перечень отнимают.

Он поднялся с пола, отряхнул рубашку и спустился вниз, где всё было по-прежнему: гремели вёдрами, звали к еде, кто-то торговался у ворот. Снаружи не изменилось ничего, и это тоже часть дела: перемены такого рода не сопровождаются ни громом, ни светом.

* * *

Похожая минута бывает и у тебя, только приходит она обычно ночью. Часа в три ты просыпаешься без причины, в комнате темно, за окном одна машина за полчаса, и сна больше нет ни в одном глазу. Ты берёшь телефон посмотреть время, экран на секунду выбеливает потолок, показывает три часа четырнадцать минут, и вместе с этим светом приходит мысль, которую ты не звал: когда-нибудь меня не будет.

Дальше начинается спор, знакомый каждому, кто хоть раз так просыпался. Ты говоришь себе, что все умирают и это самая естественная вещь на свете, что тебе сорок и анализы в порядке, что дед прожил девяносто, что бояться посреди ночи попросту глупо. Доводы верные, все до одного, и ни один не доходит. Утешение говорит о смертности вообще, а среди ночи тебя подняла не смертность вообще.

Кончается всё это обычно одинаково. Ты встаёшь, идёшь на кухню, пьёшь воду прямо из-под крана, слушаешь, как гудит холодильник, потом садишься с телефоном и читаешь всё подряд, пока глаза не начнут слипаться, и к утру ты снова разумный человек, у которого впереди совещание. Страх не разрешился и не был опровергнут — его просто пересидели, как пересидивают дождь под козырьком, и он ждёт следующего свободного часа. Взрослая жизнь тем и удобна, что свободных часов в ней почти не бывает.

Вопрос, который тебя поднял, на самом деле простой, и его стоит назвать своими словами. Страх смерти — это не страх боли: боль ты знаешь, у зубного и на льду, она бывает отвратительной, но она знакомая и у неё есть конец. Мир без себя ты тоже представляешь довольно спокойно: трамвай пойдёт, дети вырастут, и картина эта грустная, но выносимая. Невыносимо одно: в ней нет места, из которого на неё смотрят.

Если ночью спросить, кто именно исчезнет, ответ приходит перечнем. Первым идёт имя, на которое ты отзываешься с трёх лет, и возраст, который приходится называть вслух у врача. Дальше работа и квартира, за которую платить ещё одиннадцать лет. И обида восьмилетней давности, которую ты носишь бережно, как носят в кармане острый камень, и привычка по субботам жарить оладьи, и планы на сентябрь.

А теперь заметь странность: любую строчку перечня можно отнять, и человек остаётся. Потерявший работу не перестаёт быть человеком, и это знает всякий, кто хоть раз её терял. Вспомни, как просыпался в незнакомой комнате, в гостинице или в поезде, и первые две секунды не знал ни города, ни дня недели, ни сколько тебе лет, ни зачем ты здесь. Ужаса в эти две секунды не было, было простое присутствие: кто-то лежит и смотрит в темноту. А потом возвращался перечень и занимал своё место, и ты снова становился собой, будто надел одежду, которая всю ночь висела на стуле.

Страх смерти — это страх, что исчезнешь именно ты, и потому он первым спрашивает, кто этот ты.

Мальчику в Мадуре никто этого не объяснял, и в том вся ценность случая. У него не было ни учителя, ни книги на коленях, ни единого слова, заготовленного заранее, он не медитировал, и слова «адвайта», недвойственность, отродясь не слышал. Он просто отнёсся к собственному страху как к вопросу, на который можно ответить опытом, и поставил опыт на себе, за неимением другого материала.

Такой опыт доступен любому, потому что для него не нужно ни книги, ни учителя, ни особой веры, а нужна одна честность: не отвести глаз в ту секунду, когда уже понятно, что ответ будет неприятным. Честность тут дороже способностей, и у шестнадцатилетнего драчуна её оказалось больше, чем у многих взрослых с полками книг.

* * *

Дальше в доме начались неприятности. Школа потеряла вкус разом: сидеть за партой и заучивать формы английского глагола оказалось занятием для кого-то другого, и мальчик всё чаще смотрел в окно, где над крышами стояло белое небо. Еда стала ему безразлична, товарищи по пустырю тоже.

Вечерами он уходил в храм. Там под ногами лежал камень, отполированный до мягкости миллионом босых ног и к ночи отдающий дневное тепло, в тёмных проходах пахло камфарой и топлёным маслом, у колонн горели плошки, а от внутреннего двора шёл барабан, ровный и негромкий, будто кто-то большой дышал во сне. Мальчик стоял перед каменными изваяниями святых, вытертыми до блеска на уровне плеча, и плакал, и слёзы эти нечем было объяснить: ни горя, ни просьбы у него не было. Просто теперь, стоило ему остановиться, внутри открывалось молчание, знакомое ему с июльского дня, и под храмовыми сводами оно открывалось легче всего.

Дома всё это видели и толковали по-своему: мальчик вытянулся, мальчик переутомился, мальчику вредно столько сидеть над книгами в такую жару. Его звали к еде, и он приходил и ел мало, а с поручением ходил и возвращался молча. Спрашивали, что с ним, и он пожимал плечами, потому что рассказать о случившемся наверху было решительно нечем, а выдумывать он не умел. Между июлем и концом августа прошло всего несколько недель, и за эти недели дом потерял его совсем, не заметив потери.

Однажды учитель задал ему переписать урок грамматики три раза — обычное наказание за невыученное. Дома он написал его дважды, взялся за третий раз, отложил тетрадь и сел на полу, закрыв глаза. Старший брат, живший в той же комнате, поднял голову от своего и сказал: — Зачем всё это такому, как ты?

Мальчик ничего не ответил. Брат имел в виду школу и учебник, и брат был совершенно прав, и правота его была обидной ровно настолько, насколько бывает обидной правда, сказанная между делом, без умысла обидеть.

В конце августа он вышел из дому и не вернулся. Хватились его только к вечеру, и дом поднялся сразу: послали к родне и расспрашивали на станции всякого, кто мог его видеть. Искать было уже некого.

Венкатараман ушёл к горе, о которой годом раньше случайно услышал от старика родственника: название тогда ударило его так, что он запомнил и день, и голос. Гора называлась Аруначала. Под ней он и остался, а через полвека в комнату к нему каждый день приходили люди со всего света, с блокнотами и с историями своих потерь. Но их вопросы получили ответ задолго до приезда — наверху, на полу жаркой комнаты, где мальчик искал умирающего и не нашёл.

* * *

Вещей в той комнате было очень мало, и это стоит заметить отдельно. Прохладный пол и чистый детский ужас — никакого снаряжения, кроме готовности довести вопрос до конца. Смерть пришла первой и спросила первой, а философия пришла потом и привела в порядок случившееся, как всегда и бывает: сначала человека припирает к стене, и только затем он начинает искать слова.

И спрашивает смерть не про боль и не про сроки: стоя у самого лица, она спрашивает одно — кто здесь. Обычно человек отвечает ей перечнем, и перечень немедленно начинает дрожать, потому что каждая строчка в нём смертна, и в этом дрожании и состоит ночной ужас.

Мальчик в Мадуре сделал единственную неочевидную вещь: он не стал защищать перечень, а посмотрел, остаётся ли кто-нибудь, когда перечень отняли весь.

Дожди в тот год пришли, как приходят каждый год: небо над Мадурой однажды к вечеру опустилось, ударило по крышам, и город, долго стоявший с задержанным дыханием, выдохнул разом — пахло мокрой пылью, водостоки загремели, дети выбежали на улицу. Небо держало дыхание, пока не пролилось. Мальчик держал своё, пока не увидел. Освобождает в обоих случаях не усилие, а его конец: держать дальше становится некуда.

Возможно, поэтому его страх и не вернулся. Не потому, что он узнал о себе что-то утешительное, утешительного в тот день не прозвучало вовсе, а потому, что он однажды не отвёл глаз и увидел: смотреть не страшно.

И когда ночь в следующий раз разбудит тебя без причины, и экран покажет три часа с чем-нибудь, страх, скорее всего, придёт точно такой же, каким приходил всегда. Только рядом с ним теперь может встать короткий вопрос: а кому, собственно, он пришёл?

Этот вопрос задавали и задолго до жаркого июля в Мадуре. За две с половиной тысячи лет до того дня его задали в лесах на севере Индии — и не шёпотом наедине с собой, а во дворе, полным людей, где за мудрость платили золотом.

Глава 2

Тысяча коров с золотом на рогах

Почему на простой вопрос тебе иногда отвечают запретом спрашивать дальше?

Трава во дворе была мокрой по щиколотку, и всякий, кто шёл через двор в то утро, промочил ноги раньше, чем дошёл до места. Дым от первых костров не поднимался вверх, а стелился понизу и путался у людей в ногах, и пахло сырой землёй и топлёным маслом, которое лили в огонь. Из-за костров доносилось тяжёлое дыхание и глухой стук рогов о жерди, и по одному звуку было слышно, что скотины там очень много. Прохлада стояла ровно до восхода, потом сверху потянуло теплом, туман начал рваться, и стало слышно, как за оградой скрипят колёса: подъезжали последние.

Большое жертвоприношение собирало народ со всей округи и было заодно ярмаркой и местом встречи, и учёный человек ехал туда не столько ради обряда, сколько ради разговора: дома он месяцами не видел равного себе, а здесь их набиралось несколько десятков. Спорили о порядке обряда и о судьбе человека после сожжения. Спор считался делом почтенным и заметным, за ним следили, как следят за поединком борцов, и проигравший терял не самолюбие, а положение.

В загоне у дальнего края двора стояла тысяча коров, и к рогам каждой примотали по куску золота. Держали их там вторые сутки, они переминались и дышали паром, и мокрая солома под ними пахла тепло и густо. Пока солнце не поднялось над крышами, золото оставалось тусклым, обычный жёлтый металл в тумане. Потом первый луч прошёл по загону, и весь он вспыхнул мелкими искрами, будто по рогам рассыпали огонь.

Царь Митхилы Джанака собирал у себя учёных охотно и сам сидел с ними подолгу, слушая до темноты. Он вышел к загону и сказал коротко: пусть самый мудрый из собравшихся уведёт этих коров к себе домой. Потом сел на своё место и стал ждать.

Двор молчал долго. Назвать себя мудрейшим при всех значит выйти на середину и отвечать каждому, кто поднимется, до последнего вопроса, а вопросов здесь было припасено на несколько дней вперёд. Люди переглядывались, косились на золото и на соседа, и никто не трогался с места.

Потом поднялся Яджнявалкья, первый спорщик той земли, и позвал своего ученика.

— Гони их к нам, — сказал он и показал на загон.

Ученик пошёл к жердям, и двор загудел сразу. Жрецы кричали Яджнявалкье, что он ещё ничего не доказал: среди собравшихся есть люди старше и учёнее, а коровы пока царские, уводить их рано. Яджнявалкья дождался, пока станет потише, и ответил просто:

— Поклон мудрейшему из вас. А коровы нам нужны в хозяйстве.

Он забрал награду раньше спора. Примерно так забирают со стола выигрыш, пока карты ещё не открыты. В этом движении не было ни скромности, ни бахвальства, он просто знал, чем всё кончится, и не считал нужным изображать неуверенность, которой у него не было. А заодно этот жест показывает, чем была мудрость в то утро. Имуществом. Её выигрывали в состязании, за неё платили скотом, и победитель уводил её домой по пыльной дороге вместе со стадом. Дальше спор шёл над пустым загоном, и это хорошая примета того дня: награда уже ушла, пыль за ней успела осесть, а люди ещё полдня выясняли, кто её заслужил.

* * *

Первым встал жрец самого царя. Он спрашивал об обряде и о смерти: чем жертвователь выкупает себя, если всё приносимое им смертно само и сгорает вместе с дровами. Получив ответы, он сел, и по его лицу было видно, что продолжать нечем.

Дальше вставали один за другим. Спрашивали, куда девается человек, когда тело сожжено и от него осталась горсть пепла, и что в нём при этом не сгорает. Заходила речь о богах и о дыхании. Яджнявалкья отвечал ровно, не повышая голоса и не торопясь, и каждый раз ответ оказывался на шаг дальше, чем ждал спрашивающий, так что возражение теряло опору ещё до того, как его успевали произнести.

Один из спорщиков, человек уже немолодой, довёл своё до конца и спросил прямо: когда человека сожгли, голос его уходит в огонь, а тело в землю, и куда тогда девается сам человек. Двор притих, потому что ради такого вопроса сюда и ехали неделю по грязи. Яджнявалкья не ответил при всех. Он поднялся и взял спрашивающего за руку.

— Пойдём отсюда. О таком не говорят при народе.

Они отошли к ограде и говорили там вдвоём, и никто не слышал ни слова. Потом вернулись и сели, и старик больше ничего не спросил.

Такое случилось в то утро один раз, и одного раза достаточно, чтобы заметить перемену. Всё остальное знание стояло на виду и продавалось за скот, как стоит на виду товар на ярмарке. А вот это одно пришлось унести из круга, к ограде, и говорить вполголоса, и не потому, что оно было тайным по чьему-то запрету, а потому, что при ста слушателях оно почему-то не выговаривается.

К полудню туман сошёл весь, трава во дворе была вытоптана в грязь, от костров тянуло сухим жаром, и над головами стояли слепни. Мальчишки разносили воду в глиняных кружках, и кружки шли по рукам не останавливаясь. Спор в такую жару идёт тяжело, и слушатели начали уставать: половину ответов они уже не понимали, а вторую знали заранее.

И вот что было общего у всех вопросов того утра. Все они были об устройстве мира: где что расположено и что во что переходит. Такой вопрос всегда можно отбить знанием, потому что знание и есть подробная карта устройства, а Яджнявалкья знал эту карту лучше всех в той земле. Пока спрашивали о карте, одолеть его было нельзя. Так тянулось до того часа, когда со своего места поднялась женщина.

* * *

Звали её Гарги. В том кругу она была одна такая, и о ней в Брихадараньяка-упанишаде, самой старой из этих записей, сказано коротко: встала и спросила. Она заговорила, и ей ответили, и по одному этому видно, что слушать её было можно, хотя и не принято.

Представь двор в середине дня, когда она поднимается. Мужчины сидят плотно, плечо к плечу, в накидках, пропахших дымом, половина из них дремлет с открытыми глазами, разговор идёт уже седьмой час, и всем понятно, чем он кончится. И в этой духоте поднимается человек, которого здесь не собирались слушать, и все головы разом обращаются к нему, будто во двор

зашёл чужой. Ей пришлось постоять молча, пока не стихнет шорох по рядам, и она стояла и ждала, не начиная.

Спрашивала она иначе, чем все до неё. Не о богах и не об обряде, а о ткани. По её вопросу выходило, что всё видимое на чём-то выткано, как ткань на станке держится на нитях основы: уток ходит поперёк и складывает узор, а выдерни основу, и узора не останется, потому что складывать его будет не на чем.

— На чём выткана вода? — спросила она.

— На ветре, Гарги.

— А ветер на чём выткан?

— На срединных мирах.

— А они на чём?

И так она повела его вверх, ровным голосом, будто разматывала клубок. Каждый ответ был просторнее предыдущего, и каждый следующий её вопрос спокойно брал этот ответ и спрашивал, на чём держится уже он. Она не спорила ни с одним словом, она принимала их все. Ей и не нужно было знать больше него, ей хватало одного движения, и она повторяла его, пока он выдерживал.

Гарги, женщина из учёной семьи, сдвинула разговор с устройства мира на его основание. Карта тут переставала помогать сразу. Сколько ни рисуй на листе, лист, на котором ты рисуешь, в рисунок не попадает, и рука, которая рисует, тоже.

Двор притих. Стало слышно, как в огне лопается сырая ветка и как за оградой мычит отставшая корова. Гарги дошла до самого верхнего мира, какой был у них в счете, назвала его и задала свой прежний вопрос:

— А он на чём выткан?

И Яджнявалкья ответил ей:

— Не спрашивай слишком много, Гарги. Иначе у тебя отвалится голова.

Она замолчала и села. Угроза не была оборотом речи: в том дворе верили, что у спрашивающего сверх меры голова отваливается на самом деле, и верили в это так же буднично, как верят в удар молнии по дереву.

Задержись здесь на минуту, потому что в этом месте произошло главное за весь день. До этой фразы Яджнявалкью не остановил ни один вопрос, он отвечал всем и на всё, и отвечал лучше, чем спрашивали. А на вопрос женщины **мудрейший в той земле ответил не знанием, а запретом.**

Угроза всегда говорит не о вопросе, а о человеке, который её произносит. Означает она одно: дальше у отвечающего ответа нет, и он не хочет, чтобы это стало видно при народе. Может быть, он и правда знал, куда ведёт её лестница, и знал, что на верхней ступеньке слова кончаются и передавать оттуда нечего. А может быть, просто устал и разозлился, как устаёт и злится всякий, кого при людях подвели к краю его умения. Обе догадки одинаково человеческие, и ни одна не делает его меньше.

* * *

Через какое-то время Гарги поднялась снова, и двор насторожился: после обещанной головы человек обычно сидит тихо до конца. Обратилась она не к нему, а ко всем сидящим. Сказала, что задаст ему два вопроса, как воин кладёт на тетиву сразу две стрелы, и если он ответит на оба, спорить дальше никому не стоит.

— Небо сверху, земля снизу и весь простор между ними — на чём они вытканы?

— На непреходящем, Гарги.

— А непреходящее какое?

— Его самого не видит никто, а видят им все. Его не слышит никто, а слышат им все.

Оно ничем не держится, а держит порознь солнце и землю, и не даёт дням перепутаться.

Гарги повернулась к собранию и подождала, пока стихнет шорох.

— Поклонитесь ему и расходитесь по домам. Никто из вас его не одолеет.
И села.

Приговор в том споре вынесла она. Не царь и не старшие жрецы, а женщина, которой часом раньше пообещали отвалившуюся голову за лишний вопрос. Она объявила исход, собрание согласилось, и спор на этом, по существу, кончился.

Учение, о котором потом напишут толстые книги и переспорят друг друга монастыри, делает свой первый шаг внутрь, от устройства мира к его основанию, не в устах победителя, а в вопросе человека, которого по всем тогдашним правилам можно было не слушать вовсе. Дверь такому знанию и дальше будут открывать чаще с той стороны, где ни сана, ни права голоса.

* * *

Последним вышел Видагдха Шакалья, знаток гимнов, уверенный и привыкший к победам. Он начал с богов.

— Сколько всего богов?

— Три тысячи триста и ещё шесть, — ответил Яджнявалкья.

— Хорошо. А всё-таки сколько богов?

— Тридцать три.

— Хорошо. А всё-таки?

— Шесть.

Число падало дальше, пока не осталось одно. Это была та же лестница, только вниз: Гарги шла вверх, снимая мир за миром, а Шакалья спускался, снимая бога за богом, и обе дороги упёрлись в одну точку, где считать уже нечего.

Потом Яджнявалкья перестал отвечать и начал спрашивать сам. Речь шла не о богах, а о человеке: кто сидит у него внутри и смотрит оттуда глазами, и чем этот сидящий держится, когда всё остальное отнято.

Шакалья ответил один раз, ответил второй, а на третий замолчал. Молчание в таком споре стоит дороже неверного ответа, потому что неверный ответ можно поправить, а молчание поправить нечем. И голова у него отвалилась.

Так это записано, коротко и без объяснений. А следом идёт подробность, от которой становится не по себе и смешно разом: кости его увезли по дороге грабители, приняв за что-то ценное. Складывавшие эту запись шутили мрачно и не считали нужным смягчать, и шутка их говорит о правилах игры больше, чем целая страница пояснений: проигравший в таком споре терял всё, и терял буквально.

Пока Яджнявалкью спрашивали о мире, он отвечал и выигрывал, потому что мир лежал перед ним как разложенная на земле ткань, и всякую нить в ней он умел назвать. А спросил он сам совсем не о мире. Вопрос был о самом спрашивающем: кто это внутри тебя, Шакалья, считает богов и хочет выиграть коров. Ответить на такой вопрос знанием нельзя, потому что знание всегда о чём-нибудь другом, а здесь спрашивают о хозяине самого знания.

Солнце к тому часу стояло уже низко, тени от жердей пустого загона легли через весь двор, дым потянулся по-вечернему, понизу. Больше никто не вставал.

Яджнявалкья оглядел сидящих.

— Спрашивайте меня, или я спрошу вас, — сказал он.

Двор молчал. Тогда он спросил сам, в эту тишину, и своего ответа не дал:

— Срубленное дерево поднимается заново от корня. А человек, срубленный смертью, от какого корня поднимется?

Никто не ответил. Костры догорали, люди начали расходиться к своим повозкам, и вопрос остался висеть над вытоптанной травой.

* * *

Знание в том дворе давало власть, и доходила она до чужой головы: проигравший расплачивался положением, а Шакалья расплатился всем. А дальше эта власть три тысячи лет

медленно утекала. Вопрос уходил от победителя к ищущему, со двора в дом, из состязания в разговор вполголоса, и к концу дороги за него уже никто никому не платил ни коровами, ни монетами. Началось это, похоже, в то самое утро: пока спрашивали об устройстве, знание работало и приносило скот, а как только спросили об основании, оно кончилось на середине фразы.

Ту же лестницу ты слышал у себя дома, и не один раз. Ребёнок лет четырёх спрашивает, почему ночью темно, ты отвечаешь про солнце, он спрашивает, почему солнце заходит, ты отвечаешь, что земля поворачивается, он спрашивает, почему она поворачивается. И на четвёртой или пятой ступеньке ты упираешься в место, где ответа у тебя нет, и говоришь: спи, поздно уже.

Ребёнок ничего дерзкого при этом не сделал. Он шёл по тем же нитям вверх и дошёл до края твоего знания, а край есть у всякого знания, и стыдного в нём нет ровно ничего. Раздражение, которое поднимается в эту минуту, — не про ребёнка. Оно про край.

Взрослые делают то же самое, только вежливее и незаметнее. На третий твой вопрос, зачем мы вообще всё это делаем, на работе отвечают, что сейчас не время для философии. Дома это звучит как «не начинай», у врача как «не накручивайте себе», а в самом честном случае тебе просто подсовывают ответ на соседний вопрос и переводят разговор, и ты даже не сразу замечаешь подмену.

Вопрос, на который тебе ответили запретом, дошёл до края чужого знания, а не до края возможного.

Услышав запрет, человек обычно решает, что вопрос был неприличный, и прячет его подальше, к другим неприличным вопросам. А запрет сказал ему одно: готового ответа здесь больше не выдадут. Дальше придётся смотреть самому, и это не наказание, а первое место на всей дороге, где от него наконец потребовалось что-то своё.

И ещё одно, чтобы от этого утра не осталось уютного впечатления. Вопрос о собственном основании был опасным с самого начала, и первый же двор, где его задали вслух, ответил на него угрозой оторвать голову. Опасен он и сегодня, только иначе: голов он не отрывает, зато разбирает привычное представление человека о себе, и время для этого выбирает сам, обычно не самое подходящее.

К ночи двор опустел. Трава была вытоптана в грязь, зола под костровищами ещё дышала теплом, и по тёмной дороге гнали домой тысячу коров, и золото на рогах больше не блестело, потому что блеснуть стало не от чего.

Стадо прошло мимо дома, где жена Яджнявалкьи развязывала узлы на свёрнутых тканях. Хозяин собрался уходить в лес, и делёж имущества в тот вечер обернулся разговором, который помнят дольше, чем тысячу коров с золотом на рогах.

Глава 3

Та, что отказалась от половины дома

Что из нажитого тобой останется твоим, когда тебя не станет?

Во дворе переступали коровы, пригнанные затемно. Рога у них были уже пустые, золото сняли ещё на дороге и унесли в дом, и без золота они снова сделались усталой скотиной, которую надо поить до темноты. Мальчишка ходил между ними с ведром, бормоча себе под нос, коровы толкали его боками, и от их дыхания в остывающем воздухе стоял тёплый пар.

В доме на земляном полу стояло всё, что нажили за долгую жизнь. Сундуки с откинутыми крышками, а рядом свёрнутые ткани, перевязанные узлами. Женщина сидела на корточках и развязывала узлы один за другим, разворачивала ткань, оглядывала её на просвет от очага и сворачивала снова, уже по-другому. Она делала это не первый час, и по лицу её было видно, что дело не в тканях.

Очаг горел в середине комнаты, и огонь в нём был старше обоих здешних браков. Хозяин дома кормил его утром и вечером, и так делал всякий женатый человек той земли: огонь при-

нимали при свадьбе, поддерживали всю жизнь и от него же после смерти зажигали костёр. Дом без живого огня считался пустым местом. Сейчас в очаге догорали вечерние дрова, и кормить этот огонь завтра было некому.

Хозяина ты уже знаешь: это Яджнявалкья, который утром увёл коров, не дожидаясь спора. В тот вечер он уходил.

Обычай этот был почтенный и никого не удивлял. Человек, который дожил до внуков и отдал долг дому, имел право однажды встать, оставить хозяйство и уйти в лес, где нет ни двора, ни разговоров о завтрашнем дне. Уходили налегке и навсегда. Перед уходом делили нажитое между домашними, потому что мёртвому и ушедшему добро одинаково ни к чему, а живым в этом доме ещё жить.

У него было две жены. Катьяни разбирала ткани и спрашивала о деле: кому достанется дальнейшее поле и довольно ли будет зерна до следующего урожая. Вопросы были правильные, и задавать их было некому, кроме неё: завтра утром хозяина не станет, а есть в этом доме будут по-прежнему три раза в день. За такие вопросы иногда смотрят свысока, а зря. Кто-то должен думать о котле.

Майтрейи, другая жена, сидела чуть в стороне, у стены, и молчала. О ней в той же Брихадараньяка-упанишаде сказано коротко и уважительно: она любила разговоры о главном и умела их вести. В доме, где муж полжизни провёл в спорах с учёными людьми, такая жена или появляется, или изводится от скуки. Майтрейи слушала эти разговоры годами и никогда, судя по записи, в них не встревала при посторонних.

Он разделил всё вслух, спокойно, как делят при свидетелях. Одна половина досталась ей, другая — Катьяни, и по каждой вещи сказано отдельно. Свёрнутые ткани переложили в два места, сосуды развели на два ряда. Скот посчитали и поделили прямо во дворе, в темноте, на голос. Дом в этот вечер выглядел ровно так, как выглядит всякий дом перед разорением: вещи вынуты со своих мест и стоят посреди комнаты, ничьи, и от этого кажутся мельче и хуже, чем были на полке.

Майтрейи посмотрела на свою половину. Половина дома — это много. Это скот и поля, и в той стране такого добра хватило бы, чтобы прожить остаток жизни, ни у кого ничего не прося, и чтобы соседи кланялись первыми. Женщина, которую муж оставляет, обычно только на это и может надеяться, и надежда эта не мелкая: половина дома — это защита от голода и от чужой воли.

Она смотрела на всё это долго, а потом задала вопрос, из-за которого вечер в чужом доме помнят три тысячи лет.

— Если бы мне досталась вся земля со всем её добром, стала бы я от этого бессмертной?

В комнате стало слышно очаг. Вопрос был задан ровно, без слёз и без вызова, и звучал он совершенно по-хозяйски: так спрашивают о товаре, прежде чем взять его в руки. Спрашивала она не про сытость на старости лет, а про настоящую цену всего разложенного по кучам.

Он мог ответить ласково: слова утешения перед уходом ничего не стоят. Большинство уходящих так и делает: говорят что-нибудь тёплое и неопределённое, чтобы остающийся не плакал в спину.

— Нет, — сказал он. — Жить ты будешь, как живут богатые люди, и только. **На бессмертие в имуществе надеяться не на что.**

Сказано это было без запинки и без сожаления, и вот эта простота и есть самое человеческое место всей сцены. Он не стал ни смягчать, ни объяснять, ни торговаться. Женщина спросила о цене, и ей назвали цену.

Майтрейи ответила сразу, не подумав ни минуты, и по скорости ответа видно, что думала она об этом давно.

— Зачем мне добро, если бессмертной оно меня не сделает? Расскажи лучше, что знаешь сам.

Она отказалась от половины дома за одну фразу, не поторговавшись. В комнате продолжали стоять сундуки, во дворе мычали коровы, поделённые час назад, а половины дома больше не было: её только что обменяли на разговор, который ещё даже не начался.

Заметь, где именно это случилось. Не в святилище и не на учёном дворе, где спорят о судьбе человека после сожжения. В комнате, заставленной посудой, где пахнет остывающей золой и мокрой соломой со двора, где на полу лежат развязанные узлы и кто-то считает медь. Делёж имущества оказался для такого вопроса местом удобнее любого храма: пока добро лежит по полкам, оно кажется частью тебя, а когда его вынули и разложили по кучам, сразу видно, сколько всего остаётся здесь.

И спросила первой не философия. Спросила смерть, стоящая рядом в виде простой вещи: муж уходит навсегда, огонь завтра погаснет, дом кончился. Так она обычно и спрашивает: не словами, а расстановкой мебели.

Он сел обратно. Это мелочь, но из неё видно человека: он уже попрощался, он уже делил всё и мог уйти на рассвете, ничего никому не объясняя, и остался ещё на одну ночь, потому что его спросили всерьёз. Он сказал, что она и раньше была ему дорога, а теперь стала дороже, и пусть садится ближе и слушает внимательно, потому что говорить он будет один раз.

Начал он с вещи, от которой у слушающего холодеет спина.

— Не ради мужа дорог жене муж, — сказал он. — А дорог он ей ради неё самой. И не ради сына дорог матери сын, и не ради богатства дорог человеку богатство.

Ни одна вещь на свете не дорога сама по себе. Дорого в ней всегда другое: живое присутствие, которое смотрит и любит. Оно не меняется от человека к человеку: то же самое в ней, что и в чужом у ворот.

Услышать это можно двумя способами, и оба честные. Можно понять так: значит, я тебе не нужна, ты меня и не любил, ты любил во мне своё. Женщина, которую оставляют на рассвете, имеет полное право думать именно так, и ничего глупого в этом нет. Фраза холодная, произнесена она при сундуках, и звучит она обидно ровно настолько, насколько обидна всякая правда, сказанная не вовремя.

А можно и наоборот, и тогда это едва ли не самое нежное, что муж говорил жене. Тебя любят не за пользу и не за руки, которые пекут хлеб. Всё перечисленное стареет и отваливается, и, если бы любили за него, любовь кончилась бы вместе с первым сломанным зубом. Любят в тебе живое, которое не старится, и оно у нас общее, и поэтому я тебя и не могу оставить настоящему, куда бы я завтра ни ушёл.

До сих пор об этом спорят серьёзные люди с обеих сторон, потому что слова допускают оба прочтения и выбрать между ними по грамматике нельзя. Майтрейи выбрала. Она не заплакала и не ушла за перегородку, она придвинулась ближе.

Вспомни, как это бывает у тебя, без всяких лесов и сундуков. Мать узнаёт шаг сына на лестнице через двадцать лет, хотя вес у него теперь другой, обувь другая, и сам он приехал другим человеком из чужой страны. Она поднимает голову раньше звонка. Спроси её, по чему она узнала, и она пожмёт плечами: ни по звуку, ни по привычке. Просто узнала. Значит, узнавала она в нём не вес и не походку, а его самого, и никакого списка примет для этого не понадобилось.

Тогда Майтрейи и спросила прямо: а само оно какое? Вопрос честный и совершенно неудобный. Ей только что сказали, ради чего ей дорога на свете каждая вещь, и теперь она просила показать это живое присутствие.

Он ответил ей не описанием: то, о чём она просит, назвать нельзя, и он предложил перебирать всё подряд и о каждом говорить одно.

— Не то, — сказал он. — И это не то.

Три тысячи лет эти два слова будут повторять из спора в спор, всерьёз, как рабочий приём, а не как отговорку. Тут они произнесены впервые, вечером, в комнате с развязанными узлами.

Понять, почему иначе не выходит, проще всего на собственных глазах. Ты видишь ими стену напротив и собственную руку. Одного не видишь никогда: самого глаза. В зеркале ты видел свой глаз тысячу раз, кусок мокрой плоти с прожилками, а самого зрения не видел в нём ни разу. Зрение не помещается в зеркало по той же причине, по которой нож не режет сам себя. И если тебя попросят показать, чем ты смотришь, ты честно сможешь только одно: показывать на вещи вокруг и говорить о каждой, что это не оно. Не стена, и не рука, поднятая к лицу.

Приём выглядит уклончивым, а на деле он единственный точный. Всякое слово называет предмет, отделяя его от прочих предметов, и потому слово справляется со всем, у чего есть края. У смотрящего краёв нет: он не стоит среди вещей, он — место, откуда на них смотрят, и в опись имущества его не внести. Сундук можно назвать и поделить, и корову тоже. Хозяина глаза не назовёшь, и не потому, что его нет, а потому, что называть его придётся им же самим.

В ту ночь он прибавил к этому ещё одно, и звучит оно в таком доме почти жестоко. Увидевший это, сказал он, ничего больше не хочет, потому что желать ему уже нечего.

Сказано это было женщине, у которой час назад была половина дома, а теперь не было ничего, и она сама только что от всего отказалась. Скот во дворе был поделён и оставался поделённым, ткани лежали в двух кучах, огонь догорал. И вот при этих кучах человек говорит, что настоящему знанию нечего желать.

Одно из двух: или это издевательство, или единственное место, где такую фразу вообще можно произнести не солгав. В богатом доме её сказать нельзя, там она пустая. Над развязанными узлами, в ночь перед уходом, она весит своё, и Майтрейи в ту ночь не возразила ни словом.

* * *

Теперь отойди от этого дома и посмотри на свой. Такое бывает у каждого, и почти всегда некстати. Умирает мать, проходит девятый день, и вы сходитесь в её квартире разбирать вещи. Пахнет валокордином и старой пылью из-под шкафа, на кухне всё стоит на своих местах, магнит на холодильнике держит листок с телефоном поликлиники, и никто не решается его снять. В комнате разложены стопки: это тёте, а это на выброс. Разбирать приходится всё подряд, включая ящик с нитками и три пары очков, купленных в разные годы.

Часам к четырём начинается ссора. Обычно из-за чего-нибудь совсем неподходящего: из-за серванта, который никто не поставит у себя, потому что он не влезет ни в одну комнату, и увезти его некуда, и выбросить рука не поднимается. Люди кричат друг на друга над сервантом, а злятся, разумеется, не на него. Просто в этой квартире надо на что-то смотреть, а на пустую кровать смотреть никто не может.

А потом кто-нибудь садится на пол с фотографией в руках, и все замолкают. И вот тут приходит вопрос Майтрейи, слово в слово. Всё в этой квартире делится. Каждая вещь отойдёт кому-то или поедет на свалку, у каждой есть цена и хозяин. **И ни в одной из них нет её.** Ни в серванте, ни в платье, которое ты почему-то не можешь отдать чужому человеку. Вся опись целиком, до последней ложки, не отвечает на вопрос, с которым ты сюда пришёл.

Всё нажитое остаётся по эту сторону, и спрашивать у него о бессмертии бесполезно.

Стоит довести счёт до конца и посмотреть уже на себя. Своё добро ты знаешь наизусть, и пересчитывать его незачем. Сервант в большой комнате, который твоим будет некуда поставить, и рубашка, которую после тебя никто из них не наденет. Каждая вещь настоящая, за каждой стоят годы, и ни одна из них с тобой не пойдёт.

Список живых причин, ради которых всё это нажито, оказывается куда короче. Обычно в нём умещаются два-три человека и одно дело, ради которого ты вообще утром встаёшь. А потом, если быть совсем честным, и он укорачивается: ведь и эти люди дороги тебе не как

имущество, а живые и отдельные, и, если бы они завтра лишились всего своего, ты любил бы их так же.

Отсюда и выходит простая вещь, которую Майтрейи проделала над сундуками. Она не презирала добро и не считала его грязным, ничего подобного в её вопросе нет. Она просто спросила у имущества, отвечает ли оно на её вопрос, и услышала «нет», и на этом перестала тратить на него свою жизнь. Всякий, кто хоть раз разбирал чужую квартиру после похорон, слышал это «нет» своими ушами, только редко решается переспросить.

* * *

В доме было уже совсем темно, дрова в очаге прогорели, и свет от углей доставал только до ближних вещей. Напоследок он сказал ей главное, ради чего, наверное, и сидел обратно. Пока человек чувствует себя отдельным, он смотрит на другого, слышит другого, думает о другом, и мир у него распадается на двоих: на смотрящего и на увиденного. А когда всё стало своим, смотреть уже не на кого и некому, и спрашивать больше нечего. Вот на этом месте разговор и упирается в последнее.

— Чем же ты узнаешь узнающего, Майтрейи?

Ответа на этот вопрос он не дал и дать не мог. Вопрос закрывает разговор, как закрывают дверь: дальше идти надо самому и молча. Любую вещь на свете узнают чем-нибудь другим. А узнающего узнавать нечем, потому что любая твоя попытка и есть он сам, и лезть внутрь неё — всё равно что светить фонарём, чтобы посмотреть, как выглядит темнота.

На рассвете он ушёл в лес и в этот дом не вернулся.

Майтрейи осталась. Хозяйства у неё больше не было, а ушла она с одним отрицанием, которое ни на что не меняется и никому не передаётся: не то, не то. Ни учения, ни обряда ей не оставили. Оставили направление и очень много работы.

Этот вечер сочли достаточно важным, чтобы записать его дважды в одном и том же собрании, в двух разных местах, будто составители боялись, что пропадёт. Записали при этом не победу в споре и не чудо, а разговор двоих над разделённым имуществом, где никто никого не переспорил.

А следующим о бессмертии спросит мальчишка, вернувшийся домой после двенадцати лет учения. Одного отрицания ему будет мало, и понадобится доказательство, которое можно взять в руки.

Глава 4

Соль, растворённая в воде

Чем проверить невидимое, если показать его нельзя?

Кусок каменной соли лежал на полке у стены, там, где в доме темнее всего. Серый, в полруки, с мутными гранями и с прожилками земли внутри, тяжёлый не по своему размеру. Соль везли выюками издалека, с северных гор, и меняли на зерно, и в деревенском доме она была вещью дорогой и будничной разом: от куска откалывали ножом крошку в еду и ставили его обратно на место. Так он и стоял месяцами, и никто на него не смотрел.

Дом был обыкновенный, каких по той стране стояли тысячи. Земляной пол, подметённый и утопанный до твёрдости камня, и низкая дверь, в которую к вечеру ложится длинный свет. От двора тянуло запахом остывающей пыли и горького дыма соседней стряпни. Ели тут сидя на полу, спали на полу и разговаривали тоже на полу, и вся жизнь шла невысоко над землёй. К ночи с полей тянуло сыростью, в траве заводились цикады, и всякого, кто шёл по дороге, было слышно задолго.

В тот год в дом вернулся сын, и вернулся он не мальчиком. Ушёл двенадцати лет, пришёл двадцати четырёх, и всё, что легло между этими числами, он прожил в чужом доме, у учителя. Вставал до света и пас хозяйскую скотину, а в промежутках повторял вслух строку за строкой,

пока каждая не ложилась в память намертво. Книг не было никаких. Всё выученное он выучил ухом, и голова его была теперь уложена плотно, как амбар к зиме.

Звали его Шветакету. Он сидел у стены очень прямо, и прямо эта появляется у человека не от воспитания, а от твёрдого знания, что он лучший в своём деле. Кто-то из домашних в тот вечер неверно произнёс слово из гимна, и он поправил, не поднимая глаз, не зло, а как поправляют ребёнка, которому позволительно не знать.

Такое знание кормило и поднимало. С ним ездили на большие собрания, куда сходились учёные люди со всей округи, вставали при народе и спорили до последнего вопроса, и победитель возвращался домой не с пустыми руками. Юноша готовился к этому основательно: спросить его можно было о чём угодно, и ответ лился ровный и складный, как вода из полного ведра.

Отца звали Уддалака, и он весь вечер смотрел на сына. Ни отшельником, ни чудотворцем он не был: обыкновенный хозяин дома, он знал те же гимны, держал скот и поля и дожид до седины в простых заботах. И под конец вечера он задал вопрос, за который в доме стало тихо.

— Спросил ли ты у учителя о том наставлении, — сказал он, — с которым неслыханное становится услышанным, а незнаемое известным?

— Какое же это наставление? — сказал Шветакету. — Учителя мои такого не знали. Знали бы — сказали бы мне.

В ответе слышны сразу двое: ученик, который стоит за своих учителей, и умный человек, которому за двенадцать лет ни разу не пришлось в голову, что учить его могли не все. Он и вправду знал всё, чему его брались учить, и до того вечера никто при нём не разделял эти две вещи.

Отец спорить не стал. Он протянул руку и взял с пола ком сырой глины, приготовленный, чтобы замазать трещину в стене.

— Вот глина, — сказал он. — Кто знает один этот ком, знает и всё глиняное. Горшок и миска — только имена, оборот речи, а глина остаётся глиной.

Ход был сыну знаком, такими ходами выигрывают споры, и он приготовился к ловушке, как готовятся к подножке. Ловушки не было. Отец сидел напротив и говорил медленно, и спорить ему было не с кем.

* * *

Разговор этот шёл не один вечер. В другой день, перед закатом, отец вывел его во двор, к дереву, под которым в жару лежала вся скотина. Баньян пускает корни прямо с веток: они висят вниз верёвками, дотягиваются до земли, врастают в неё и становятся новыми стволами, и одно дерево за долгую жизнь разрастается в целую рощу. Под старым баньяном укрывается в дождь деревня. Сверху шелестело и шевелилось, в листве возились птицы, и на утопанную землю падали мелкие плоды.

— Принеси плод, — сказал отец.

Шветакету поднял один, с ноготь величиной и липкий.

— Разломи. Что ты видишь?

— Семечки, господин. Совсем мелкие, как маковые.

— Разломи одно. Что ты видишь?

Юноша разломил семечко на ногте и посмотрел внимательно, потому что взрослый человек, которого просят посмотреть на пустое место, смотрит особенно старательно.

— Ничего не вижу, господин.

— Вот из этого тонкого, которого ты не видишь, и встало всё дерево.

Он держал на ногте ничто, и над ним стояло двадцать шагов тени, и в тени переминалась скотина. Возразить хотелось сразу, и возражение было честное: семечко не пустое, просто глаз до него не достаёт, и речь тут о слабости глаза, а никак не о тайне. Так оно и есть. Пример с плодом ничего не доказывает и доказывать не берётся, он делает одно — снимает глаз с

должности судьи. Мерить существующее зоркостью оказалось нельзя, а другой меры у юноши до сих пор не было.

Отец на этом не остановился, и остановиться было нельзя. Семечко отвечает на слово «мелкое», а дальше нужен ответ на слово «везде».

* * *

Вечером он сказал сыну:

— Возьми эту соль, положи её в воду и приходи ко мне утром.

Шветакету снял с полки серый кусок, набрал воды в глиняную чашу и опустил его туда. Соль легла на дно и сразу стала меньше, чем была в руке, и от неё вверх потянулась мутная струйка, как дым от погашенной лампы. Он поставил чашу на пол у стены и отошёл.

Поручение было для ребёнка лет шести. Двенадцать лет он держал в памяти тысячи строк, знал счёт слогов и порядок слов в каждой, умел разобрать спорное место так, что старшие поднимали брови. И вот его просят положить соль в воду и лечь спать.

Заснуть он в ту ночь не смог. Чаша стояла у стены, в ней отражался последний уголёк из очага, и вода в темноте выглядела как вода.

Среди ночи он всё-таки поднялся и посмотрел в чашу. Мутная струйка исчезла вместе с куском, и назвать минуту, в которую соль перестала быть солью, было нельзя: никакого перехода не случилось, ни хлопка, ни вспышки. Вещь просто перестала быть вещью и осталась при этом целой. Он сел обратно к стене и стал перебирать в памяти всё выученное, раздел за разделом, как перебирают связку ключей у чужой двери. Каждый ключ подходил к какому-нибудь замку в мире, и ни один не годился сюда.

Злость его была тяжёлая и честная, как всякая обида умного человека, которого при домашних поставили на место. За спиной двенадцать лет без единого прогулянного дня, в этих годах холодные подъёмы до света и стёртые ноги, и каждый из них был отдан делу, которое здесь, в родном доме, сейчас называли неполным. Так обижаешься и ты, когда двадцать лет безупречно делаешь своё дело, а потом при подчинённых слышишь простой вопрос не по существу и не находишь ответа.

И в самой середине этой злости лежала неприятная ясность. Его спросили не про гимны и не про обряд, и отбиться знанием было нечем. **Двенадцать лет он учил слова о мире и ни разу не спросил, кто в нём учит и кто учится.** Вопрос не помещался ни в один из выученных разделов, потому что во всех разделах речь шла о предметах, а этот был про хозяина всех предметов сразу.

* * *

Утром в доме было ещё серо и холодно, пол дышал ночной прохладой, со двора доносился скрип и плеск: кто-то поднимал воду. Чаша стояла на прежнем месте. Вода в ней была прозрачной и ровной, и дно просматривалось всё.

— Принеси мне соль, которую ты вчера положил, — сказал отец.

Шветакету опустил руку в чашу. Вода была холодная, дно гладкое, и пальцы прошли по нему дважды. Куска не было нигде.

— Её нет.

— Отпей с краю. Какова она?

— Солёная.

— Отпей из середины.

— Солёная.

— Отпей со дна.

— Солёная.

— Вылей и возвращайся.

Юноша вынес чашу за порог и плеснул воду на землю. Она ушла в пыль почти сразу, и осталось тёмное пятно, которое начало подсыхать с краёв. Он вернулся и сел на прежнее место.

— Соль никуда не делась, — сказал отец. — Ты её не видишь, а она здесь.

Соль ушла из вида, но не из воды. Форма распалась, вкус остался целым, и был он не в одном месте, а в каждом глотке одинаково: сверху столько же, сколько со дна. Вынуть его нельзя ниоткуда. Пересоленный суп и по сей день никто не спас ложкой, и ни одна хозяйка на свете не пробовала выловить лишнее, потому что вылавливать нечего. Суп варят заново. Вкус живёт ровно там, где пальцы уже ничего не находят.

Невидимое проверяется на вкус, а не на глаз.

Разница тут не в тонкости, а в стороне. Осматривают предмет, лежащий напротив. Вкус происходит внутри, и никакого «напротив» у него нет, и предъявить его тоже нельзя: человек, глотнувший солёной воды, знает о ней больше всех на свете и не может передать это знание ни одному соседу.

Заканчивал отец каждый заход одной короткой фразой и повторял всё заново, другим примером, с начала. Заходов было девять подряд. Записи Чхандогья-упанишады почти такие же старые, как та, где записан двор с тысячей коров. Составитель оставил их все, слово в слово, будто знал, что с первого раза это не садится ни у кого.

А после каждого объяснения Шветакеу говорил одно и то же:

— Объясни мне ещё, господин.

Перемена случилась вот в этой просьбе, а не в примерах про плод и чашу. Умный человек, которого при своих поставили на место, обычно делает одно из двух: спорит до последнего или замолкает и уносит обиду с собой на всю жизнь. Этот попросил повторить. Девять раз подряд он отказывался от готового и просил ещё, и на девятый раз в доме сидел уже не знаток, вернувшийся с ученья, а человек, который наконец спрашивает о себе.

Низкая комната с земляным полом работала здесь не хуже соли. Во дворе, полном народу, вставший обязан победить, а тут сидят двое, и проигравший остаётся ночевать и утром ест ту же кашу. На людях так не выходит: там всякое слово говорится ещё и слушателям, и отступить некуда, и признать посреди спора, что о главном ты не спрашивал, значит отдать чужому человеку своё имя. Дома отдавать нечего. Отец говорил сыну то же самое девять раз не оттого, что сын был туп, а оттого, что в родном доме можно повторять, не теряя лица.

Цена у этого разговора всё же была, и заплатил её младший. За такой урок нигде не берут скотом, и ни одна корова из-за него не перешла со двора на двор. Отдать пришлось другое, и отдавать это тяжелее: двенадцать лет безупречной работы перестали быть всем, чем человек владеет, и первым, кто это сказал ему в лицо, оказался отец. Кто хоть раз слышал такое от своего отца, знает, что чужому на слово не верят никогда, а родному верят сразу и надолго.

* * *

У тебя всё это уже случалось, и не в деревне, а вчера или на прошлой неделе. Ты едешь на своей машине пятый год и однажды утром слышишь в моторе чужую ноту. Приборы молчат, идёт она ровно, как шла вчера, и сидящий рядом не слышит ничего. А звук не тот, и сомнений у тебя нет никаких.

Показать это нельзя ничем. Вынуть и положить на стол нечего, пересказать тоже нечем, а в мастерской у тебя выходит одна фраза, и звучит она совершенно неубедительно: «гудит как-то иначе». Мастер просит показать, где именно, а показывать негде. Доказательства нет никакого, а уверенность полная, и машину ты всё-таки оставляешь на день, потому что ухо твоё знает её лучше всякого прибора.

Так ты узнаёшь почти всё важное в своей жизни. Достаточно войти в чужую прихожую, чтобы понять, мир ли сегодня в этом доме или тут третий день молчат друг с другом. Ждали тебя здесь или терпят, слышно раньше, чем с тобой поздоровались. Ни одну такую вещь нельзя достать и предъявить, и ни в одной ты при этом не сомневаешься: она растворена в видимом ровно и до краёв и различается с первого глотка.

А теперь поверни это туда, куда повернул отец. Самое неуловимое здесь — сам пробующий. Его ты тоже не вынешь и не покажешь, ни другому, ни себе. И его же ты узнаёшь вернее всего на свете: сомневаться, что сейчас кто-то смотрит, тебе не приходило в голову ни разу за всю жизнь.

Здесь надо остановиться и сказать честно, где проходит край. Соль в чаше ничего не доказала и никого не убедила силой: это не довод, а перемена приёма, и за ней всё равно придётся идти самому. Отец не показал сыну живое присутствие. Показать его было нельзя, и он не брался. Он сделал другое: снял требование «покажи, или ничего нет», которым умный человек всю жизнь отгоняет от себя единственный неудобный вопрос.

С таким требованием в кармане знаток уезжает из дома ровно тем же, каким приехал. Без него остаётся простая работа, на которую не нужно ни двенадцати лет, ни учителя: попробовать самому и узнать, каково оно на вкус.

Ту короткую фразу, которой отец заканчивал каждый из девяти заходов, две с половиной тысячи лет переводят тремя словами — «ты есть то». Над ней третий год горит настольная лампа в университетском кабинете на другом краю света, и человек под лампой считает в строке местоимения, потому что не уверен, что там сказано именно это.

Глава 5

Спор о трёх словах

Много ли ты знаешь о себе с чужих слов?

Карандаш останавливается посреди строки и дальше не идёт. Человек за столом читает строку медленно, слово за словом, не давая глазу проскочить вперёд и подставить привычное, и всё равно упирается в одно и то же место. Он кладёт рядом с выпиской верхнюю карточку из стопки, сверяет помету мелким почерком и откладывает карточку лицом вниз. Потом читает строку заново, с начала.

Джоэл Бреретон, американский санскритолог, сидит над тремя словами, которыми кончается вечерний разговор о соли. Слова эти знает всякий, кто хоть раз слышал об индийской мысли, и знает он их в одном переводе, потому что другого никто не предлагал. Мешает тут мелочь, и не проходит она никак: местоимение в строке стоит не в том роде.

В санскрите, как и в русском, у слов есть род, и ухо ловит несовпадение раньше, чем рассудок успевает объяснить. Сын, к которому обращена фраза, мужского рода, а местоимение «тат», стоящее рядом с ним, среднего, и дословно выходит не «ты есть тот», а «ты есть оно». По-русски царапало бы точно так же: как бы ни было велико и свято это «оно», отец, говорящий сыну «ты есть оно», говорит странно. Объяснение у традиции готово и спокойно: средний род стоит потому, что речь идёт не о человеке и не о боге, а о сущем, у которого никакого рода и нет.

Читать такую страницу трудно вовсе не из-за её древности. В рукописи нет ни точек, ни запятых, ни заглавных букв: слова стоят сплошняком, одно к другому, и конец одного сливается с началом следующего по звуку. Где кончается фраза и с чем связано слово, решает читающий, и решает по смыслу, а смысл берёт из привычки, из выученного наизусть в четырнадцать лет. Так привычка незаметно становится грамматикой. Проверить её можно единственным способом: разобрать строку заново, будто видишь её впервые, и посмотреть, что стоит на листе, а что приставлено к листу за две тысячи лет.

Объяснение держится, пока читаешь одну строку отдельно от разговора. Бреретон читает весь разговор подряд, страницу за страницей, и видит, что отец девять раз подряд показывает сыну не предмет, который можно назвать, а ход: каким образом незаметное остаётся на месте и продолжает работать, когда смотреть уже не на что. И если так, то местоимение перестаёт быть неправильным. Возможно, оно вовсе не указывает на вещь, а отвечает на вопрос «как»: не «ты есть то», а «так ты и есть». **Самая знаменитая фраза о единстве всего, быть может, говорит не о равенстве, а о способе.**

Разница здесь не для специалистов, её слышит всякий. «Ты есть то» звучит как весть о родстве: слушающему сообщают, что он и есть основание мира, и ему остаётся либо поверить, либо пожать плечами. «Так ты и есть» ничего не объявляет и никуда не возносит. Фраза поворачивает голову назад, к только что показанному, и говорит: посмотри ещё раз, ты устроен таким же образом, и проверить это можно на себе, не выходя из комнаты.

Человек под лампой хорошо понимает, чего касается. На старом переводе стоит школа с тысячелетней историей и десятки миллионов живых людей, для которых три слова не цитата, а опора под ногами. Человек, разбирающий чужой почерк при настольной лампе, обычно последним узнаёт, скольких людей касается его аккуратная работа, и этот знает.

Строка давно живёт за пределами учёных кабинетов. Её выводят краской над воротами обитателей и печатают на открытках, которыми торгуют у автобусных станций. Её повторяют перед сном, как проверенное средство от страха, и говорят её вслух над гробом, когда обычные слова утешения уже сказаны и не помогли. Человек, у которого за спиной нет ни языка, ни школы, держится за неё именно потому, что она коротка: длинное объяснение к утру забывается, а три слова остаются. И вот приходит тихий человек с карточками и вежливо сообщает, что слова, возможно, стояли другие.

Работа при этом идёт самая скучная на свете: каждое место, где в тексте встречается местоимение, выписано на отдельную карточку, со столбиком помет мелким почерком, и карточек этих на столе уже несколько сотен. К полуночи глаза перестают различать буквы, и он выходит в коридор к автомату с кофе, чтобы постоять у тёмного окна и послушать, как гудит пустое здание.

Коллега, заглянувший в кабинет утром, смотрит на разложенные карточки от двери.

— И что теперь, всё рушится?

— Рушиться нечему, — говорит Бреретон. — Рушится перевод.

— Тебе не поверят.

— Пусть проверят.

Статья вышла в 1986 году, вежливая и твёрдая, без единого слова о вере и против веры. Патрик Оливелл, переводчик упанишад, пошёл близким путём в своей работе, другие санскритологи возражают всерьёз и подробно, и спор с тех пор не кончился. Идёт он медленно и подчеркнуто вежливо, как все споры такого рода: возражение занимает страницу, ответ на возражение приходит через год-другой, стороны уважительно ссылаются друг на друга и каждый раз оговариваются, что вопрос остаётся открытым. За сорок лет никто не победил, и это, пожалуй, лучшее, что могло случиться с фразой. Три года жизни на одно местоимение со стороны выглядят чудачеством, вроде многолетнего спора о запятой в чужом письме. Только письмо это адресовано всем, а запятая стоит в единственной фразе, которую из письма помнят наизусть.

* * *

Учение в этом месте оказывается честнее своих защитников. Если бы всё держалось на трёх словах, поправка грамматиста обрушила бы его целиком, как вынутый снизу камень обрушивает арку, и от трёх тысяч лет остались бы разговоры о неверном переводе. Но за три тысячи лет никто не пришёл к этому знанию через цитату. Люди приходили иначе — не с книжной полки, а из мест, где книг не читают.

Приходили на другое утро после смерти. Человек просыпается в свой обычный час, и первые две секунды у него всё как всегда, а потом возвращается вчерашнее и садится сверху. Он встаёт, потому что телу надо встать, ставит чайник и достаёт из шкафа две чашки, как доставал каждое утро, и вторую держит в руке, не зная, куда её теперь. За окном проходит первый автобус, у соседей снизу льётся вода. И вот над этой второй чашкой до него впервые доходит, что человека, с которым он прожил сорок лет, больше нет нигде, а сам он стоит и дышит, а через час поедет на работу, и делается непонятно, чем он-то отличается и надолго ли.

Настигало это и в больничном коридоре, где остаётся только слушать, как гудит лампа над дверью, и считать, сколько раз прошла медсестра. Начиналось и просто со страха, с ночного холода под рёбрами, с недоумения при виде собственной руки на столе. Строка попадалась потом, иногда через много лет, и человек узнавал в ней своё — не строка объясняла ему, что с ним тогда было, а он опознавал в ней уже пережитое. Порядок здесь всегда был такой, и обратного порядка не случалось ни разу.

Сам предмет разговора от имени не зависит вовсе. Ребёнок, впервые глотнувший на море воды, узнаёт вкус целиком и сразу, морщится и лезет обратно в волну, а слово «солёный» придёт к нему через несколько лет и ничего к этому вкусу не прибавит. Слово вообще приходит последним и всегда с опозданием, и всё, на что оно способно: позвать других к тому же самому месту.

У соли есть вкус раньше, чем у языка появляется слово «солёный».

Поэтому поправка филолога меняет надпись, а не содержимое. Если строку придётся читать иначе, отец в вечернем доме от этого не переменится, вода в чаше не станет пресной, и сын не перестанет пробовать её с краёв и со дна. Изменится одно: самая знаменитая цитата перестанет быть паролем, который достаточно выучить. Для учения это скорее облегчение, потому что заученный пароль всегда мешал: пока фраза лежит в памяти готовой, у человека возникает чувство, что дело сделано и проверять больше нечего.

* * *

На столе под лампой лежит не древность, а её длинная тень. Выписки сделаны из печатных изданий, издания собраны по рукописям, рукописи переписывали от руки поколение за поколением, потому что в сыром климате пальмовый лист живёт недолго и темнеет по краям. Текст дошёл только потому, что его переписывали заново каждые несколько десятков лет, и каждый раз это делал живой человек с усталой спиной, при масляной лампе.

Писали по листу острой палочкой, процарапывая буквы, а потом втирали в царапины сажу, и буквы проступали чёрным. Работа тихая, царапающая, и за день её выходит немного. Переписчик зевал, глаз его прыгал через строку, ухо подсказывало привычное вместо написанного, а рука дописывала слово, которого в оригинале не стояло. В другом месте он останавливался, хмурился и выводил с края крошечную помету, до сих пор никем не разгаданную. Вот на этом дописанном слове и расходятся две интонации, которые потом путают всю дорогу: «так записано» и «так рассказывают». Запись держит лист вместе с чужим зевком и чужой опиской, а рассказ держит другое: людям казалось важным именно это, и пересказывали они именно так, и добавляли именно такие подробности. Из этих усталостей и помет и складывается работа, за которой сидит человек в университетском кабинете: он не судит древних, он разбирает почерк.

И тут выясняется утешительное сверх всякого ожидания. Учение прошло через сотни таких рук, через выгоревшие листы и описки, через чужой климат и чужие языки, и всё ещё работает. Значит, несёт его не буква: буква осыпается, а вкус держится.

* * *

У тебя всё это уже было, и без всякого санскрита. Есть песня, которую ты пел много лет, и одна строчка в ней звучала по-своему: ты слышал в ней своё слово, и оно попадало в тебя точнее любого другого, и ты возвращался к песне именно из-за него. А потом кто-то показал напечатанный текст, и слово оказалось другим, глупее, проще, не про тебя. **Строчка была услышана неверно, а вечера, которые она держала, были настоящими.**

Заметь, чего ты в ту минуту не сделал: ты не вернул обратно ни одного из этих вечеров. Неверно расслышанное слово работало, потому что попадало в уже готовое, в твоё собственное: оно лежало внутри без имени и ждало, чтобы его назвали хоть как-нибудь. Слово было ключом, а не дверью, и ключ мог оказаться кривым, лишь бы повернулся.

Так что здесь никого не просят верить в чужую цитату, ни в старую, ни в новую, ни в исправленную. Три слова могут быть переведены неточно, и ничего страшного в этом нет.

Страшнее другое — прожить всю жизнь внутри чужого перевода, который красиво лежит в памяти и ни на что не влияет. Проверить придётся самому, и эта проверка происходит не в библиотеке. Она делается в любую свободную минуту: посмотреть, есть ли внутри отдельный человек по имени «я», и посмотреть честно, не зная заранее верного ответа.

Честно здесь значит без готового результата в кармане. Вода в стакане успокаивается сама, если стакан перестать трясти, и дно становится видно не от усилия, а от паузы, и с этим взглядом внутрь происходит примерно то же самое. Никакого правильного ответа заранее не выдают, и никто не проверит работу. Найдётся внутри отдельный человек — прекрасно, вопрос закрыт и можно жить дальше. Не отыщется — стоит посмотреть, кто это сейчас смотрел и не нашёл, и вот на этом месте у всех и начиналось самое интересное.

Строку, из-за которой третий год не гаснет лампа в университетском кабинете, донесли до этой лампы не филологи. Две тысячи лет её переписывали и повторяли люди, готовые заплатить за неё жизнью, и первым заплатил мальчик, которого родной отец в приступе злости отдал смерти.

Глава 6

Три ночи у порога

Почему в ответ на самый важный твой вопрос тебе всегда предлагают что-нибудь взамен?

К полудню двор выгорает добела. Жрецы поют ровно и сухо, без выражения, как поют долгую работу, и голоса их держатся на одной ноте до головокружения. В угли льют топлёное масло, оно вспыхивает и шипит, и густой сытный чад стелется низко и висит над утоптанной землёй. Пахнет горячей пылью и топлёным маслом, а снизу тянет навозом. Всё это неподвижно, потому что ветра нет с самого утра.

Из дома выносят имущество и складывают во дворе. Циновки, свёрнутые и перевязанные бечевой. Рядом медный сосуд с потемневшим боком и коробка с зерном. Человек, затеявший это жертвоприношение, отдаёт всё нажитое, потому что по правилу обряда о высшем может просить лишь оставшийся ни с чем. Дом за спиной пустеет, и каждый шаг в нём начинает звучать гулко, как в любом жилье, откуда вынесли вещи. В дверях стоит мальчик и смотрит, как со двора уходит его детство, разложенное по кучкам на земле.

Скотину пригоняют последней. Она сбивается в углу двора, тяжело дышит, и по этому стаду сразу видно всё. У передней коровы зубы сточены до самых дёсен, и вымя висит сухой тряпкой. Соседняя слепа на левый глаз и всё время поворачивается боком, чтобы видеть людей. Про этих коров в тексте сказано коротко и безжалостно: «траву они съели, воду выпили, молоко отдали», и телят от них больше не будет. Это подарок жрецам, плата за обряд и за произнесённые слова.

Молодой жрец принимает верёвку из рук хозяина и отводит глаза. Он молчит. Он не скажет ни слова ни сейчас, ни после, потому что подарок в таком месте не взвешивают вслух, а хозяин дома человек известный и щедрый, и все вокруг подтвердят, что он отдал всё до последнего. Корова переступает и роняет голову. Верёвка переходит из ладони в ладонь, и на этом обряд идёт дальше.

Мальчика зовут Начикета. Он стоит у дверного косяка и считает: не коров, а годы, оставшиеся каждой из них, и выходит у него мало. Видит он ровно ту же картину, какую видят все, и разница одна: он ещё не научился не замечать. И берёт его тихая неловкость за отца. **Цену подарку назначает одно: как трудно дарителю с ним расстаться.** Места, куда попадает человек, раздавший подобное, названы в одно слово: безрадостные. Ни ада, ни расплаты в этом слове нет, есть только места без радости, ровно такие же, как сам подарок.

Раз в год ты разбираешь шкаф и складываешь в мешок пальто, в котором больше не выйдешь, и относишь мешок туда, где принимают вещи для нуждающихся. Отдал старый теле-

фон с треснувшим стеклом племяннику, не пропадать же добру. И внутри в эту минуту делается тепло. Тепло настоящее, и не отличается оно от тепла человека, который отдал нужное и остался без него. Никто себя тут не обманывает нарочно. Способа отличить одно тепло от другого у человека нет, и вместо него есть только чужой вопрос, заданный вслух.

Мальчик подходит к отцу и задаёт свой.

— Отец, а меня ты кому отдашь?

Отец не отвечает. Он занят, у него на руках обряд, и вокруг люди.

— Отец, а меня ты кому отдашь?

Кто-то из жрецов поворачивает голову. Пение идёт своим чередом.

— Отец, кому ты отдашь меня?

— Смерти тебя отдаю.

Слово сказано громко, при всех, и во дворе становится слышно, как гудят мухи над разлитым маслом. Отец сказал это в ярости, не думая, самым большим словом, какое подвернулось под руку, потому что злость всегда хватается за самое большое. Через минуту он уже хотел бы забрать сказанное обратно. Мальчик хотел от отца честности в раздаче, и за весь тот день во дворе честно прозвучало одно только слово, сказанное отцом в злости.

* * *

Мальчик уходит со двора, и никто его не останавливает.

Он идёт по дороге в белой пыли и думает о простом. Впереди него многие умерли, и среди многих он пойдёт где-то посередине. «Как злак, созревает смертный, и, как злак, рождается вновь» — строка из этого же текста, и сказана она голосом человека, который смотрел на спелое поле. Колос не спорит о сроке. Мальчик не героизирует себя и не прощается с жизнью. Он просто принимает отцовское слово по полной его цене, потому что слово вслух в той жизни весило не меньше верёвки, которую передают из ладони в ладонь.

Дорога туда длинная, и он прошёл её всю.

У смерти есть имя, Яма, первый из умерших. Он прошёл дорогу раньше всех и потому встречает на ней каждого идущего следом, и дом его стоит в конце пути, как стоит дом хозяина в конце поля. Порядки в доме самые обыкновенные, и есть даже прислуга. Только хозяина почти никогда не бывает дома, потому что работа у него такая.

* * *

Мальчик приходит к пустому дому и садится у порога.

Двор прибран, дверь закрыта, за дверью тихо. Камень порога держит дневное тепло долго, до середины ночи, и к нему хорошо прислониться спиной. Потом тепло уходит в землю, и становится холодно по-настоящему, как бывает холодно ночью в сухой стране после белого дня. Он подтягивает колени и сидит. В доме кто-то ходит, скрипит половица, звякает посуда, но никто не выходит.

Второй день длиннее первого. Голод к середине второго дня перестаёт просить и затихает, и это знает всякий, кому доводилось не есть двое суток. Голод уходит, а жажда остаётся и становится всем на свете. Губы трескаются, во рту вяжет пылью, язык делается чужим и большим. Мимо проходит старик с метлой, метёт двор до самого порога, у порога останавливается и метёт обратно, и ни разу не поднимает глаз. Он не злой. Он просто не хозяин в этом доме, и без хозяйского слова гостя не поят и не кормят даже здесь.

К третьей ночи из головы мальчика уходит всё лишнее. Сначала уходит обида на отца, потом сама мысль о нём. Не важно уже, правильно ли он поступил и что о нём скажут дома. Остаётся одно дело: дожидаться. Он не стучит в дверь ни разу. В этом мире гостя встречают сами хозяева, и пришёл он за ответом к хозяину дома, которому его отдали. Смешное положение, если смотреть со стороны: мальчика отдали смерти, а смерть в это время где-то работает и о подарке не знает.

Ночи здесь очень тихие, и тишина не пустая. Далеко лает собака, потом умолкает. В доме за стеной кто-то поворачивается на лежанке. Над двором стоят крупные сухие звёзды, каких в сырых местах не бывает, и свет их холоден настолько, что от него, кажется, тянет сквозняком. Мальчик лежит на боку, подложив руку под голову, и понимает простую вещь: никто на свете не знает, где он сейчас. Отец не знает. Домашние не знают. Случись с ним что-нибудь у этого порога, никто не хватится до весны. Такое знание о себе приходит к человеку редко, и почти всегда оно приходит один раз и в дороге.

Три ночи на камне странно меняют человека: вопрос, приведший его сюда, становится коротким. К вопросу пристроены обида и желание, чтобы это оценили. За трое суток всё это осыпается само, потому что удержать такие вещи в холоде и без воды нечем. **К четвёртому утру у порога сидит уже не мальчик со сложной историей, а один голый вопрос.**

* * *

В тот же день под вечер смерть возвращается домой, и возвращается она пешком, в пыли, как возвращаются с долгой работы.

Дом просыпается сразу. Зажигают лампу, кто-то из домашних говорит быстро и вполголоса, и слышно, как в темноте звякает кувшин. Ему говорят слова, известные в таком доме наизусть: гость в доме, как огонь в доме, и непринятый гость выжигает у хозяина надежды, скот и добрые дела. Принесите ему воды. Гость здесь сильнее хозяина, и это не вежливость, а прямой расчёт, и в доме самой смерти он работает так же, как в любом другом доме.

Смерть выходит к порогу. И первым делом извиняется.

— Ты просидел у меня три ночи и не ел, — говорит она. — Гость в доме выше хозяина. За каждую ночь проси, что хочешь.

Смерть здесь не чудовище и не судья с весами. Она хозяйин дома, застигнутый врасплох, и она чинит оплошность так, как её чинил бы любой хозяин: тремя подарками, по одному за ночь. Держится она спокойно и ровно, и в её спокойствии нет ничего от торжества. Она тут на работе, как всякий вечер.

Первый дар мальчик тратит на отца.

— Пусть он перестанет злиться. Пусть спит по ночам. И когда я вернусь, пусть узнает меня и заговорит со мной, как прежде.

— Узнает и заговорит, — говорит смерть. — И спать будет спокойно.

Заметь, о чём мальчик не попросил. Он не попросил, чтобы отец раскаялся и до конца дней казнился виной. Не попросил и отменить сказанное. Он попросил для отца сна. А отец в эти три ночи и правда не спал. Он лежал в опустевшем доме без единой циновки и до утра слышал своё слово во дворе. После тяжёлой ссоры с близким, когда жар уже сошёл и осталась одна усталость, справедливости хочется меньше всего. Хочется, чтобы другой перестал лежать ночью с открытыми глазами.

Второй дар уходит на обряд. Мальчик просит рассказать про огонь, ведущий туда, где нет ни страха, ни старости. Смерть объясняет подробно: какой огонь складывают, сколько кирпичей, в каком порядке их кладут. Мальчик выслушивает и повторяет всё обратно, слово в слово, не сбившись ни разу, и смерть довольна настолько, что даёт огню его имя. Мальчишка вытянул из хозяина мёртвых подробный разговор про кладку кирпичей и остался доволен. Он потратил второй подарок на мир своего отца: на тот самый обряд, ради которого во дворе раздавали старых коров. И сделал это без всякого презрения.

Третий дар он просит не сразу.

— Об умершем человеке спорят, — говорит мальчик. — Одни говорят, что он есть. Другие — что его нет. Научи меня, чему из этого верить.

Смерть отвечает не сразу, и отвечает отказом.

— Об этом сомневались и боги. Дело тонкое. Проси другое и не держи меня за слово.

Смерть уговаривает его отступить. Не грозит и не запугивает, а именно уговаривает, спокойно и настойчиво, как уговаривают ребёнка не лезть туда, где он ничего хорошего не найдёт. И взамен она предлагает.

В ход идут сыновья и внуки, живущие по сто лет, и годы жизни по собственному его счёту. Следом идут женщины с лютнями и повозками, каких смертным не достаётся. И всё это не обман и не наваждение. Смерть предлагает настоящее, лучшее из существующего, и предлагает из собственных рук, и ни одна из этих вещей не хуже, чем кажется.

Возможно, она и не испытывает его вовсе. Возможно, она знает, чем кончаются такие разговоры, и по-хозяйски бережёт мальчишку от знания, которое в его годы носить тяжело. У неё ведь одна работа на свете, и работу эту она делает дольше всех, и видела она, как люди узнают лишнее и потом не умеют с этим жить.

Остановись на минуту на самом простом из предложенного: на годах. Лет тебе отмерят по твоему же слову. Успеть всё, на что вечно не хватает времени. Увидеть, какими вырастут внуки, и дожидаться правнуков. Дочитать, доделать, помириться со всеми, с кем не помирился, и ещё останется. Любой человек, у которого есть хоть одно незаконченное дело, знает цену этому подарку и знает, как трудно от него отказаться. Мальчик отказывается.

— Всё это до завтра, — говорит он. — И эту песню, и повозки оставь себе.

А дальше он говорит главное, и говорит не как святой, а как счетовод.

— Разве буду я богат, если увидел тебя? Разве буду я жить, пока живёшь ты?

Нельзя купить у смерти вещь, которую она потом заберёт обратно.

Здесь нет ни подвига, ни красивого презрения к благам. Здесь простой счёт, доступный ребёнку. Всё предложенное принадлежит не ему, а ей, выдаётся на срок и возвращается ей же вместе с человеком. Долгая жизнь дольше короткой, и всё-таки она короткая. А самое неприятное в подарках другое: они изнашивают чувства. К десятому году любого счастья язык перестаёт различать вкус, глаз перестаёт видеть красоту, и человек ходит среди своего богатства как сторож. Мальчик не презирает подарки. Он просто увидел, кому они принадлежат, и после этого на каждом из них проступила цена.

И вот тут смерть перестаёт его отговаривать и начинает отвечать. Голос у неё меняется.

— Одно дело приятное, другое дело полезное, — говорит она. — Оба приходят к человеку и оба тянут его в разные стороны. Кто взял полезное, тому хорошо. А погнавшийся за приятным промахнулся мимо своей цели.

Слова простые, и на первый взгляд это обыкновенная мораль, которой учат детей. Но сказано тут другое, и разница решает всё. Приятное и полезное приходят вместе, от одной руки и в одну минуту, и приходят перепутанными: никто не ставит одно справа с рогами, а другое слева в белом. Человек не выбирает между добром и злом. Он на них смотрит. И приятное отличается от полезного не нравственно, а близостью и громкостью: его можно взять в руки сегодня вечером. Полезное далеко и ничем себя не выдаёт. Внимание идёт туда, где есть за что зацепиться, и потому почти всегда выигрывает первое: так устроено зрение, и подлости в этом никакой.

Это видно на любом застолье. За столом говорят двое: один громко и уверенно, другой негромко и по делу. Домой ты уедешь с фразами первого, будешь их пересказывать неделю, а слова второго вспомнишь месяца через три, когда они вдруг понадобятся. Никто тебя не обманывал и за столом. Громкое занимает всё место, пока звучит, и выбора между ними ты не делал ни разу. Ты их слушал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.